

Конрад Д.

ПРЫЖОК ЗА БОРТ

КЛАССИКА
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
РОМАНА

Классика приключенческого романа

Джозеф Конрад
Прыжок за борт

«Алисторус»

1900

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

Конрад Д.

Прыжок за борт / Д. Конрад — «Алисторус», 1900 — (Классика приключенческого романа)

ISBN 978-5-486-02674-4

Джозеф Конрад (1857–1924) – выдающийся английский романист, пример редкой писательской судьбы: поляк по национальности, выучивший английский язык уже в зрелом возрасте, он становится классиком английской литературы. Конрад написал около тридцати книг о своих морских путешествиях и приключениях. Неоромантик, мастер психологической прозы, он по-своему пересоздал приключенческий жанр и оказал огромное влияние на литературу XX века. В числе его учеников – Хемингуэй, Фолкнер, Грэм Грин, Паустовский. В этом томе публикуется роман «Прыжок за борт» (в оригинале «Лорд Джим»). Его главный герой, Джим, с детства мечтал о море. Но когда мечта сбылась и он стал штурманом, случилась трагедия: корабль потерпел крушение, а Джим – как единственный спасшийся член экипажа – предстал перед судом. Другие оставшиеся в живых члены команды попросту скрылись. Так он впервые столкнулся с трусостью, предательством и несправедливостью. В поисках счастья Джим отправляется в девственные леса Малайи. Судьба улыбается ему, но со временем ее улыбка превращается в насмешку.

УДК 82/89
ББК 84(4Вл)

ISBN 978-5-486-02674-4

© Конрад Д., 1900

© Алисторус, 1900

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вступление автора | 7 |
| Глава I | 9 |
| Глава II | 12 |
| Глава III | 15 |
| Глава IV | 19 |
| Глава V | 22 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 26 |

Джозеф Конрад

Прыжок за борт

© ООО «ТД Издательство Мир книги», оформление, 2009

© ООО «РИЦ Литература», 2009

Вступление автора

*Уверенность моя крепнет с того момента, когда другая душа
разделит ее.*

Новалис

Когда я выпустил этот роман отдельной книгой, заговорили о том, что я вышел за рамки задуманного. Кое-кто из критиков утверждал, будто начал я новеллу, а затем она ускользнула из-под моего контроля. Они напоминали: повествовательная форма имеет свои законы, и считали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. По их мнению, это маловероятно.

Около шестнадцати лет я раздумывал над этим и, признаться, не так в этом уверен. Нередко люди, – на тропиках и в умеренном климате, – просиживали полночи, рассказывая друг другу сказки. Здесь перед нами лишь одна сказка, но рассказчик говорил с перерывами, что позволяло слушателям отдыхать; если же говорить о выносливости слушателей, следует помнить: история была интересна. Это – необходимая предпосылка. Не считая историю занимательной, я никогда не стал бы ее писать. Что же касается физической выносливости, то всем нам известно: парламентские ораторы произносили свои речи не три часа, а целых шесть, тогда как часть книги, заключающую рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Ну, а помимо всего, мы можем предположить, что в тот вечер подавались прохладительные напитки, помогавшие рассказчику довести историю до конца.

Нужно сознаться: я задумал написать рассказ, темой для которого выбрал эпизод с паломническим судном – и только. Таков был первоначальный план. Написав несколько строк, я остался чем-то недоволен и отложил на время работу. Я не вынимал рукопись из ящика до той поры, пока покойный мистер Уильям Блевуд не предложил мне снова дать что-нибудь в его журнал.

Вот тогда-то мне показалось, что эпизод с паломническим судном поможет развернуть большую повесть.

Те немногие страницы, какие пролежали у меня в ящике, до некоторой степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я переделал заново.

Иногда мне задавали вопрос, не является ли эта книга самой любимой из всех мной написанных. Я ненавижу фаворитизм и в общественной жизни и в частной; столь же враждебен мне он и тогда, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Фаворитов я не хочу иметь принципиально; однако не стану говорить, что мне не нравится, когда иные оказывают предпочтение моему «Lord Jim», не скажу даже, что «я отказываюсь понять»... Ни в коем случае! И все-таки однажды я был сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не понравилась. Конечно, я об этом пожалел, но что меня удивило, так это основание такой неприязни. «Вы знаете, – сказала она, – все это так болезненно».

Этот приговор заставил меня целый час тревожно размышлять. Допуская, что тема до известной степени чужда женщинам с нормальной восприимчивостью, я пришел к заключению, что эта дама не могла быть итальянкой. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская кровь, не счел бы болезненной ту остроту, с какой человек реагирует на утрату чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее сочтут искусственной и осудят; возможно, мой Джим, как тип, встречается не очень часто, но я заверяю читателей, что он не является плодом извращенной фантазии.

Он – не житель страны Северных Туманов. Однажды солнечным утром в повседневной обстановке одного из восточных портов видел я, как он прошел мимо, умоляющий, выразительный, безмолвный, «в тени облака». Таким он и должен быть. И со всем сочувствием, на какое я способен, я должен был найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас.

Джозеф Конрад

Июнь, 1917

Глава I

Ростом он был, пожалуй, на один-два дюйма меньше шести футов, крепко сложен; слегка сгорбившись, он шел прямо на вас, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что вызывало в вас образ быка, бросающегося в атаку. Голос у него был глубокий и громкий, а держал он себя так, как будто упрямо добивался признания своих прав. Однако в этом не было ничего враждебного. Казалось, эта настойчивость вызвана была необходимостью и, по-видимому, относилась и к нему самому и ко всем окружающим. Одет он был всегда безупречно, с ног до головы в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где служил морским клерком в фирмах, снабжавших суда различной утварью.

От морского клерка не требуют никаких дипломов, но он должен отличаться деловой сноровкой. Его обязанности заключаются в том, чтобы в лодке или на катере обгонять других морских клерков, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и приветствовать капитана, вручая ему проспект своей фирмы, а когда капитан сойдет на берег, морской клерк должен уверенно направить его к большой, похожей на пещеру лавке. Там вы можете найти все, чтобы украсить судно и сделать его пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы.

Торговец встречает капитана, которого никогда не видел, словно родного брата. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и копией торговых правил, и радушный прием, который растапливает соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану он относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Счет посылается позже. Какое прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко.

Если расторопный морской клерк вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему хорошие деньги и делает кой-какие поблажки. Джим получал всегда хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие бы завоевали верность врага. И тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал службу и уезжал. Несостоятельность объяснений, какие он давал своим хозяевам, была очевидна. «Ну и болван», – говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было мнение об его утонченной чувствительности.

Для белых, живших на побережье, и для капитанов он был просто Джим. Имел он, конечно, и фамилию, но был заинтересован в том, чтобы ее не знали. Это инкогнито, продырявленное, как решето, имело целью скрывать не личность, а некий факт. Когда же об этом факте начинали говорить, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт, обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании, – моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая пригодна лишь для морского клерка. В боевом порядке он отступал туда, где восходит солнце, а факт следовал за ним, получая огласку случайно, но неизбежно.

Годы шли, а о Джиме узнавали то в Бомбее, то в Калькутте, Рангуне, Пекине, Батавии, и в каждом из этих портов его узнавали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острое сознание невыносимого своего положения окончательно оторвало его от морских портов и белых людей и увлекло в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он скрылся, прибавили прозвище к односложному его имени. Они называли его туан Джим; лучше всего перевести это лорд Джим.

Родился он в пасторской семье. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Столетия стояла она здесь, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу, у подножья холма, мягко отсвечивал

красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, цветочными клумбами и соснами; позади дома находится фруктовый сад, налево – мощный скотный двор, а к кирпичной стене прилепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был один из пяти сыновей, и когда, начитавшись во время каникул беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и искусством лазить по реям. Его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на формарсе, и с презрением человека, которому суждена полная опасности жизнь, часто смотрел он оттуда вниз на мирное полчище крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, – трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он мог видеть, как там, внизу под ним отчаливали большие корабли, непрестанно двигались паромы и шныряли лодки, а вдали мерцал туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и в мечтах заранее переживал жизнь на море, о которой знал из книг: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты или с веревкой плывет по волнам, то, потерпев крушение, одиноко бродит босой и полуголый по рифам в поисках съедобных ракушек, которые бы отодвинули голодную смерть. Он сражается с дикарями в тропиках, умиряет бунт, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживает мужество в отчаявшихся людях, всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

Что-то случилось. Все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот, и, выбравшись из люка, ошеломленный, он застыл на месте.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, – движение на реке прекратилось, – и теперь он дул с силой урагана; его гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали набегающие волны, суденышко билось у берега, неподвижные строения выривались в плавающем тумане, тяжело раскачивались паромы на якоре, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это смыл. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме злобное упорство, ярость и настойчивость в визге ветра, в смятии земли и неба. Эта ярость как будто была направлена против него, и в страхе он затаил дыхание.

Кто-то его толкал: «Спустить катер!» Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в лежавшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна видел, как это произошло. Мальчики вскарабкались на перила, окружили боканцы и кричали: «Авария! Как раз перед нами. Мистер Симонс видел!» Его отпихнули к бизань-мачте, и он уцепился за веревку.

Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, а снасти низким басом тянули песнь о днях его юности. «Ступайте!» Джим видел, как лодка быстро исчезла за бортом, и бросился к перилам. Слышен был плеск. «Отдать канаты!» Он перегнулся через перила. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, отданный во власть ветра, и валы, которые на секунду пригвоздили его борт о борт с судном. Слабо донесся чей-то голос с катера: «Гребите сильнее, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильнее!» И вдруг катер, подбросив высоко нос – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал цепи, в какие заковали его волны и ветер.

Кто-то схватил Джима за плечо.

– Опоздал, малыш!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, казалось собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительного сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыbnулся.

– В следующий раз тебе повезет. Это научит тебя сноровке.

Катер приветствовали громкими радостными криками, он вернулся наполовину залитый водой, танцуя на волнах, а на дне его копошились два измученных человека. Грозный гул моря и ветра казался Джиму не стоящим внимания, и тем острее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, чего стоит эта угроза, и думал, что шторм ему нипочем. Он не испугается и более серьезной опасности. Страх прошел бесследно, но тем не менее в тот вечер Джим мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера, мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами, был героем палубы. Его обступили и с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не свалился за борт, думал, что упаду, но тут старый Симонс выпустил румпель и ухватил меня за ноги, лодка едва не опрокинулась. Симонс – славный старик. Беда не велика, что он всегда ворчит. Пока держал меня за ногу, он все время ругался, но этим хотел только мне внушить, чтобы я не выпускал багор. Старик Симонс ужасно кипитится, правда. Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого, большого с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! Моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только, такой здоровый парень падает в обморок, словно девчонка. Разве мы с вами лишились бы чувств из-за какой-то царапины багром? Я бы не лишился! Крючок вонзился ему в ногу вот на такой кусок. – Он показал багор и вызвал сенсацию. – Крючок, конечно, вырвал кусок мяса, но штаны выдержали. Кровь так и хлестала.

Джим решил, что тщеславие – это суетно. Буря вызвала героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он негодовал на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и задушившее готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Много стало ему более понятным, чем тем, что участвовали в деле. Если бы все утратили мужество, он один сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн – в этом он был уверен. Он знал, чего она стоит. Ему, беспристрастному зрителю, она казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и происшествие закончилось тем, что Джим ликовал, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков; по-новому он убедился в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

Глава II

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ясно себе представлял, оказалась лишенной приключений. Он проделал много рейсов. Он познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить попреки людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба; единственной наградой за него являлась безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более пленительного, разочаровывающего и порабошающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был надежен, дисциплинирован и в совершенстве знал, чего требует от него долг; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен первым помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие разоблачают, чего стоит человек, из какого теста он сделан и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и подлинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря, а ярость эта проявляется не так часто, как принято думать.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец капитан впоследствии говорил: «Я считаю чудом, что судно уцелело!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, словно обретался в бездне непокоя. Каков будет конец – его не интересовало, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством человеческой мысли. Страх становится глуше, а воображение, враг людей, ничем не подстрекаемое, тонет в тупой усталости.

Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед его глазами была картина опустошения в миниатюре; втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но непобедимая тревога изредка зажимала в тиски его тело, заставляла задыхаться и корчиться под одеялом, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физическим мучениям, вызвала в нем отчаянное желание спастись какою бы то ни было ценой. Затем буря миновала, и он больше о ней не думал.

Однако он все еще хромал, и когда судно прибыло в один из восточных портов, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Поправлялся он медленно, и судно ушло без него. Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь двое больных: комиссар¹ с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный агент из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему тайком его неугомонный и преданный слуга из Томила. Больные рассказывали друг другу эпизоды из своей жизни, играли в карты или, не снимая пижам, валялись по целым дням в креслах, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в раскрытые окна, приносил в пустую комнату мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе и нескончаемых грезах.

Ежедневно Джим глядел на изгороди садов, крыши города, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше, туда на этот рейд – путь на Восток, глядел на рейд, украшенный гирляндами островов, залитый радостным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда. Суета эта напоминала языческий праздник, а вечно ясное восточное небо и улыбающееся спокойное море тянулись вдаль и вширь до самого горизонта.

¹ Заведующий хозяйством и казначей на судне.

Как только Джим стал ходить без палки, он отправился в город разузнать о возможности вернуться на родину. Оказии все не было, и, выжидая, он, разумеется, сошелся в порту с товарищами по профессии. Они делились на две категории. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом корсаров и взглядом мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно завершенным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно стали офицерами на местных судах. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священнее, а суда обречены на штормы. Они полюбили вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белыми. Их пугала мысль о тяжелой работе, и, полагаясь на милость других, они жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение.

Постоянно толковали они о случайных удачах: такой-то назначен командиром судна, плававшего у берегов Китая, – легкая работа; другому досталась прекрасное место где-то в Японии, а третий преуспевает в сиамском флоте. На всем, что бы они ни говорили, на всех их взглядах, манерах, поступках было пятно – знак гниения, решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа болтливых моряков казалась сначала такой же нереальной, как тени. Но в конце концов он начал находить очарование в этих людях, видимо, преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу сменялось иным чувством. Внезапно, отказавшись от мысли вернуться на родину, он занял место первого помощника на «Патне».

«Патна» была местным старым пароходом, тощим, как борзая собака, и изъеденным ржавчиной. Владельцем ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – немец из Нового Южного Валлиса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, видимо, подражая Бисмарку, тиранил всех, кого не боялся. Он разгуливал с видом свирепым и непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того, как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разведшего пары у деревянного мола.

По трем сходящим поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от перил, растеклись по всей палубе, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, привычками, воспоминаниями – пришли сюда с севера, юга, с дальнего востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль песчаных кос, переплывали в маленьких каноэ с острова на остров, страдали, испытывали неведомый доселе страх.

Все они шли к одной цели. Они пришли из одиноких хижин в джунглях, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Бросили они свои леса, свое имущество и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, сильные мужчины во главе своих семей, тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение, пришли юноши с бесстрастными глазами, пугливые девочки со спутанными длинными волосами, робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

– Поглядите на них, – сказал немец шкипер новому своему помощнику.

Араб, глава этих благочестивых странников, явился последним. На борт он поднялся медленно, красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним вереницей следовали слуги, тащившие его багаж. «Патна» отчалила от мола.

Проскользнув между двумя островками, она пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруг в тени, отброшенный камнем, потом близко подошла к покрытым пеной рифам. Стоя на корме, араб вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость Всевышнего на это путешествие, молил благословить подвиг людей и тайные их стремления. В сумерках пароход рассек тихие воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал огненным глазом, словно насмехался над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из проливов, пересекла залив и продолжала путь проливом «Один градус». Она направлялась к Красному морю под ясным, палящим и безоблачным небом, окутанным в блеск солнечного сияния, которое убивает мысли, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба синее и глубокое море оставалось неподвижным, – даже рябь не морщила его поверхности, – море липкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением неслась по этой равнине, лучезарной и гладкой, развернула по небу черную ленту дыма, выпустила за собой по воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезала, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным пароходом.

Каждое утро солнце поднималось, молчаливо извергая свет, всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, затем уходило дальше на запад и таинственно погружалось в море каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Над палубой с носа до кормы раскинулся белым сводом тент, и только слабое жужжание – тихий шепот грустных голосов – обнаруживало присутствие людей на ослепительной глади океана. Так сменялись дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно проваливаясь в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна, а «Патна» упорно шла вперед, черная и дымящаяся, в лучезарном пространстве, словно опаленная пламенем; без сожаления это пламя лизало ее с неба. Ночи спускались на нее как благословение.

Глава III

Чудесная тишина объяла мир. Звезды, казалось, посылали на землю заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сверкающий низко на западе, походил на тонкую стружку, отделившуюся от золотого слитка. Аравийское море, ровное и казавшееся холодным, словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся непрерывно, как будто удары его являлись частью плана какой-то надежной вселенной, а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды протянулись, неподвижные, на мерцающей глади; между этими прямыми, расходящимися морщинами виднелось несколько белых завитков вскипающей пены, легкая рябь, зыбь и маленькие волны. Эти волны, оставшись позади, за кормой, секунду-другую шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, объятые тишиной воды и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему оставалось в самом центре тишины.

Джим, стоящий на мостике, был охвачен этой великой уверенностью в полной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лице природы. Под тентом, доверяя мудрости белых людей, могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, – паломники спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех закоулках, спали, завернувшись в окрашенные ткани, закутавшись в грязные лохмотья. Головы их покоились на маленьких узелках, а лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе со здоровыми, все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала мрак между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели подвешенные к перекладинам круглые лампы, и в стертых кругах света, отбрасываемого вниз, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нагота, закутанная в рваное одеяло, виднелась голова, откинутаая назад, голая ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под лезвие ножа. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородились тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под головы; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и лбом уткнувшись в колени, дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба громоздилось на корме, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груду наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к груде подушек, жестяной кофейник.

Патентованный лаг на поручнях кормы периодически выбивал отдельные звенящие удары, отмечая каждую милю, пройденную судном. По временам над телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох – испарения тревожного сна; из недр судна внезапно вырывался резкий металлический стук: слышно было, как скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие там, внизу, над чем-то таинственным, исполнены были ярости и гнева. Стройный, высокий кузов парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно рассекал великий покой вод, спящих под недостижимым и ясным небом.

Джим шагал взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недостижимое и не замечали тени надвигающегося события. На море была только одна тень – тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы

широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, управляли рулем, стоя по обе стороны штурвала; медный обод колеса блестел в овальном пятне света, отбрасываемого лампой нактоуза. По временам черная рука, то отпуская, то снова сжимая спицы, показывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в полостях цилиндров.

Джим поглядывал на компас, окидывал взглядом далекий горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; ненарушимое спокойствие словно научило его дерзать; он чувствовал: что бы ни случилось с ним до конца его дней, ему до этого нет дела. Изредка он лениво бросал взгляды на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади рулевого футляра. При свете круглой лампы, подвешенной к стойке, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же ровное и гладкое, как мерцающая гладь вод. На карте лежала линейка для проведения параллелей и циркуль. Положение судна в полдень было отмечено маленьким черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до Перима, обозначала курс судна, – тот путь, каким души влеклись к священному месту, к обещанному блаженству, к вечной жизни; карандаш, острием касаясь берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно мачта, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Какой мерный ход судна», – с удивлением подумал Джим, с какой-то благодарностью воспринимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались вокруг доблестных подвигов; он любил эти мечты и воображаемые свои успехи. То было самое ценное в жизни, тайная ее сущность, скрытая ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, они проходили перед ним героической процессией, они опьяняли его душу божественным напитком – безграничной верой в самого себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что, глядя вперед, он улыбнулся; случайно оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, – полосу такую же прямую, как черная линия, нанесенная карандашом на карту.

Ведро с золой ударились о вентилятор топки, и этот металлический звук напомнил ему, что конец его вахты близок. Он вздохнул с облегчением, но пожалел, что приходится расстаться с невозмутимым спокойствием, открывающим свободу его мысли. Ему хотелось спать; он ощущал приятную истому во всем теле, казалось, вся кровь его превратилась в теплое молоко.

На мостик бесшумно поднялся шкипер; он был в пижаме, и расстегнутая куртка открывала голую грудь. Он не совсем еще проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полужакрыт, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сальная, лоснилась. Он сделал какое-то замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминавшим скрежещущий звук пилы; двойной подбородок его свисал, как мешок, подтянутый к самому основанию челюсти. Джим встрепнулся и ответил очень почтительно, но отвратительная мясистая фигура – казалось, он впервые увидел ее в минуту просветления – навсегда запечатлелась в его памяти как символ всего порочного и подлого, что таится в дорогом нам мире: в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение, в людях, нас окружающих, в картинах, развертывающихся перед нашими глазами, в звуках, касающихся нашего слуха, в воздухе, наполняющем наши легкие.

Тонкая золотая стружка месяца, медленно спускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, гуще стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так, что движения вперед не ощущалось совсем, словно «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира за роем солнц.

«Ну и пекло внизу», – раздался чей-то голос. Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер невозмутимо стоял, повернувшись широкой спиной; немец обычно сначала не замечал вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разражался с пеной у рта потоком брани, вырывающимся словно из водосточной трубы. Сейчас он только что-то угрюмо проворчал. Второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, продолжал жаловаться, нисколько не смущаясь. Морякам хорошо здесь наверху, а хотел бы он знать, какой от них толк? Ведут судно бедные механики, и они сумели бы справиться и со всем остальным; ей-богу, они...

– Замолчите! – тупо проворчал шкипер.

– Ну, разумеется! Замолчать! А если что неладно, вы сейчас же бежите к нам! – продолжал тот. – Он уже наполовину спекся там, внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил представление о том местечке, куда после смерти отправляются дрянные людишки... ей-богу, получил... и вдобавок там внизу оглох от адского шума. Проклятое гнилое корыто грохочет и тарыхтит, словно старая лебедка на палубе. Он понятия не имеет, какого черта ему рисковать своей жизнью ночи и дни среди всей этой рухляди! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он...

– Где вы нализались? – осведомился немец.

Он злился, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на массивную статую человека, вырезанную из глыбы жира.

Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт.

– Нализался! – презрительно повторил механик; обеими руками он уцепился за поручни. – Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скупы, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите капельку влаги. Это у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Часов в десять первый механик дал ему рюмочку... «всего-навсего одну, ей-богу!» – добрый старичок, но теперь старого плута не стащить с койки, пятитонным краном его не поднять! Во всяком случае, не сегодня! Он спит невинным сном, словно младенец, а под подушкой у него покоится бутылка с первоклассным бренди. С уст командира «Патны» сорвалось ругательство, и слово «schwein» запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и первый механик были знакомы много лет – вместе служили веселому, бодрому старику китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою седую косицу. В родном порту «Патны» жители побережья были того мнения, что эта парочка – шкипер и механик – по части плутовства друг другу не уступят. Внешне они гармонировали плохо: один – с мутными глазами, злобный и мясистый, другой – тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с впалыми щеками и висками, с ввалившимися стеклянными глазами.

Первого механика выбросило на берег где-то на востоке – в Кантоне, или Шанхае, или в Йокагаме, должно быть, он и сам не помнил, где именно и почему произошло крушение. Двадцать лет назад его из сострадания к его молодости спокойно вытолкнули с судна; пожалуй, тем хуже для него, что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал ни малейшего сожаления. В то время в восточных морях начало развиваться пароходство, а так как людей его профессии вначале было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он грустным шепотом неуклонно сообщал, что он здешний «старожил». Когда он ходил, казалось, скелет болтается в его платье. Раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка или машинного отделения, курил, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом мыслителя, творящего философскую систему. Обычно он скупился и сохранял свой личный запас спирта только для себя, но в ту ночь отказался от своих принципов. Поэтому второй механик от неожиданного уго-

щения крепким напитком стал очень веселым, дерзким и болтливым: у молодого человека из Уэпинга голова была слабая.

Немец из Нового Южного Валлиса бесновался и сопел, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали его. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, и не плохие парни... Даже сам шкипер... Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой глыбы жира, испускающей бормотанье – поток гнусных ругательств; однако приятная усталость мешала ему ощущать активную неприязнь к кому бы то ни было. До этих людей ему не было дела, он работал с ними бок о бок, но коснуться его они не могли, он дышал одним с ними воздухом, но был иным человеком... Подерется ли шкипер с механиком?.. Жизнь казалась легкой, и он был слишком в себе уверен, слишком уверен, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно перешел к рассуждениям о своем финансовом положении и своем мужестве.

– Кто пьян? Я? Ничего подобного, капитан! Пора уж вам знать, что наш первый механик не слишком-то щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; нет такого зелья, от которого бы я опьянел! Давайте пить на пари – вы пьете виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим как огурчик. Хоть сейчас! А с мостика я не уйду. Где мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец взвел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

– Я *ничего* не боюсь, – продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. – Я не боюсь проклятой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что на свете есть такие люди, которые не дрожат за свою шкуру... иначе – что бы вы без нас делали, вы и эта старая посудина с обшивкой из просмоленной бумаги?.. Вам-то хорошо, вы из нее вытягиваете монету, а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас, почтительно, заметьте, кто станет цепляться за такую проклятую работу? И дело опасное! Но я один из тех бесстрашных парней...

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество, его тонкий голос взлетал над морем, он встал на цыпочки, чтобы резче подчеркнуть фразу, и вдруг полетел вниз головой, как будто его сзади подшибли палкой. Падая, он крикнул: «Черт возьми!» За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавался заглушенный стук машин. Быть может, земля споткнулась на пути своем? Они ничего не понимали, и вдруг тихое море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в своей неподвижности.

Механик поднялся во весь рост и снова съежился в неясный комок. Комок заговорил сдавленным голосом:

– Что это?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук – не вибрация ли воздуха, – и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый кузов судна, стремясь вперед, казалось, постепенно приподнимался на несколько дюймов, словно сделался гибким, потом снова опускался и по-прежнему неуклонно рассекал гладкую поверхность моря. Дрожь прекратилась, и сразу смолкли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и звучащего воздуха.

Глава IV

Месяц спустя, когда Джим, в ответ на прямые вопросы, пытался рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне: «Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку».

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в административном суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении в прохладной высокой комнате; большие пунки² тихо вращались вверху, над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица – темные, белые, красные, – лица внимательные, словно все эти люди, сидевшие на узких скамейках, были загипнотизированы его голосом. А голос его звучал четко, и Джиму он казался жутким, – то был единственный звук, который слышен был во всей вселенной, ибо вопросы, исторгавшие у него ответы, как будто складывались в его груди, тревожные, острые и безмолвные, как жуткие вопросы совести. Солнце пламенело снаружи, а здесь ветер, нагнетаемый пунками, вызывал дрожь; от стыда бросало в жар, кололи внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских ассессоров³. Сверху, из широкого окна под потолком, падал свет на головы и плечи трех людей, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из призраков с остановившимися глазами. Им нужны факты. Факты! Как будто факты могут все объяснить.

– Решив, что вы натолкнулись на что-то, ну, скажем, на обломок судна, вам капитан приказал идти на нос и разузнать, нет ли каких-нибудь повреждений. Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? – спросил ассессор, сидевший слева. У него была жидкая борода, по форме напоминавшая подкову, и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои волосатые руки и смотрел в упор на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй ассессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел откинувшись на спинку стула; вытянув левую руку, он барабанил пальцами по блокноту. Посредине председателя в широком кресле склонил голову на плечо и скрестил руки на груди; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

– Нет, не считал, – сказал Джим. – Мне приказано было никого не звать и не шуметь, во избежание паники. Эта предосторожность казалась мне разумной. Я взял одну из ламп, висевших под тентом, и пошел на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услышал плеск воды. Тогда я спустил лампу, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина.

Он замолчал.

– Так... – протянул грузный ассессор, с мечтательной улыбкой глядя в блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

– В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был взволнован: все это произошло так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я столкнулся со вторым механиком; он как будто бы был оглушен и сказал мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Механик воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятое корыто, словно глыба свинца, пойдет вместе с нами ко дну».

² Вентиляторы на Востоке.

³ Судят совместно с судьей – то же, что у нас заседатели.

Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, с криком взбежал по трапу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Он его не бил, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, он его спрашивал, почему он не пойдет и не остановит машин вместо того, чтобы поднимать этот крик. Я слышал, как он сказал: «Вставай! Беги живей!» – и выругался. Механик сбежал вниз и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал...

Джим говорил медленно, воспоминания были удивительно отчетливы; если бы эти люди, требующие фактов, пожелали, – он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее возмущение, он пришел к выводу, что лишь мелочная точность рассказа может обнаружить подлинный ужас, скрытый за жутким ликом событий. Факты, какие нужны этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали место во времени и пространстве. Но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Событие не было обычным. Каждая мелочь имела величайшее значение, и, к счастью, он запомнил все. Он хотел говорить во имя истины, быть может, также ради себя самого; слова его были обдуманы, а мысль металась в сжатом круге фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за высокой изгородью, обезумев, бежит по кругу, ищет какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться...

– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику, на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся. Когда я с ним заговорил, он, словно слепой, на меня наткнулся. Толком он ничего мне не ответил. Он что-то бормотал про себя, я разобрал несколько слов: «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – словом, что-то о паре. Я подумал...

Джим становился непочтительным; новый вопрос о фактической стороне дела оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватило бесконечное уныние и усталость. Он приближался к этому... приближался... и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял выпрямившись на возвышении, а душа его стонала от муки. Ему пришлось дать ответ еще на один вопрос по существу, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус морской воды. Он вытер влажный лоб, смочил языком сухие губы, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине.

Грузный ассессор опустил ресницы, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго ассессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали ласку; председатель слегка наклонился, бледное лицо его приблизилось к цветам. Ветер, нагнетаемый пунками, обвевал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях свои круглые пробковые шляпы; тиковые костюмы облегли их тела плотно, как кожа. Вдоль стен шныряли босоногие туземцы-констебли, затянутые в длинные белые одежды; в красных поясах и в красных тюрбанах, они бегали взад и вперед, бесшумные, как призраки, и, подобно гончим, проворные.

Глаза Джима остановились на белом человеке, сидевшем в стороне; лицо у него было усталое, но спокойные глаза смотрели в упор, оживленные и ясные. Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: «Что толку в этом? Что толку?» Но он не крикнул, закусил губу и посмотрел на слушателей, сидящих на скамьях. Он встретился взглядом с белым человеком. Глаза последнего были непохожи на остановившиеся глаза остальных. В этом взгляде была воля. Джим во время паузы между двумя вопросами забылся до того, что стал размышлять.

«Этот парень, – думал он, – смотрит на меня так, словно видит кого-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека, быть может, на улице, но был уверен, что никогда с ним не говорил. Много дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый и нескон-

чаемый разговор, словно узник в одиночной камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, лишённые всякого значения, хотя и преследующие определённую цель, и размышлял о том, заговорит ли он ещё когда-нибудь в своей жизни. Звук его собственных правдивых слов подтверждал ту мысль, что дар речи ему больше не нужен. Тот человек как будто понимал мучительность его положения. Джим взглянул на него, затем решительно отвернулся, словно навеки с ним распрощавшись.

Не раз впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Случалось это после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, исколотых огненными точками сигар. В тростниковых креслах сидели молчаливые слушатели. Изредка маленькое красное пятнышко поднималось и, разгораясь, освещало пальцы вялой руки или вспыхивало красноватым блеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. Едва начав говорить, Марлоу спокойно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в глубь времен и прошлое вещало его устами.

Глава V

– Я был на разборе дела, – говорил он, – и теперь еще удивляюсь, зачем я пошел. Я готов верить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но, согласитесь и вы со мной, к каждому из нас приставлено и по дьяволу. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не желаю быть человеком исключительным, а я знаю: он у меня есть – дьявол, хочу я сказать. Конечно, я его не видел, но доказательства у меня имеются! Он ко мне приставлен, а так как по природе своей он зол, то и впутывает меня в подобные истории. Какие истории? – спросите вы. Ну, скажем, судебное следствие, история с желтой собакой... Вы считаете невероятным, чтобы облезлой туземной собаке разрешили подвертываться под ноги людям на веранде того дома, в котором находится суд... Вот какими путями – извилистыми, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь Юпитером, при виде меня языки развязываются, и начинаются признания, – как будто мне самому не в чем себе признаться, как будто у меня не найдется таких признаний, над которыми я могу мучиться до конца жизни! Хотелось бы знать, чем я заслужил такую милость! Примите к сведению, что у меня забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не знаю... быть может, это нужно лишь для того, чтобы скоротать время после обеда. Чарли, дорогой мой, ваш обед был очень хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякие упражнения! Пусть Марлоу рассказывает».

Значит, рассказывать! Пусть так!

Нетрудно говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, когда под рукой ящик с приличными сигарами, а вечер прохладен и залит звездным светом. При таких условиях даже лучшие из нас могли позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании, должны пробивать себе дорогу под перекрестными огнями, следить за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться прилично; однако подлинной уверенности у нас нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Все те, кто в той или иной мере были связаны с морем, находились там, в суде, ибо еще задолго вокруг этого дела поднялся шум – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Эдена, вызвавшая столько пересудов. Я говорю «таинственная», хотя она и преподносила всего лишь голый факт – такой безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Начать с того, что, одеваясь утром в своей каюте, я услышал через переборку, как мой парс Дубаш лопотал с баталером о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, задавших мне вопрос: «Приходилось ли вам слышать о чем-нибудь более поразительном?» И, смотря по темпераменту, они улыбались цинично, принимали грустный вид либо раздражались ругательствами. Люди, совершенно незнакомые, фамильярно заговаривали для того только, чтобы изложить свой взгляд на это дело. Те же речи вы слышали и в управлении порта и у каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, даже от полуголых лодочников, сидящих на корточках на каменных ступенях мола. Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что же, собственно, с ними произошло. Вы знаете, кого я имею в виду.

Прошло недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что это таинственное дело обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней управления порта, я увидел четырех людей, шедших мне навстречу по набережной.

Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг, если можно так выразиться, возопил мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они – трое крупных мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть непристойно. Сытно позавтракав, они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Сомнений быть не могло: с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека в тропиках, поясом обвивающих нашу славную старушку-землю. Месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал учреждения германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке де-Джонга; наконец, де-Джонг, который, и глазом не моргнув, лупил гульден за бутылку, отозвал меня в сторонку и, сморщив свое маленькое, обтянутое кожей лицо, заявил: «Торговля – торговлей, капитан, но от этого человека меня мутит. Тьфу!»

Стоя в тени на набережной, я смотрел на толстяка. Он несколько опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он походил на дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был красочен: запачканная пижама с ярко-зелеными и оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем, который был ему мал и держался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не повезет, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Итак, он стремительно летел вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и атаковал лестницу, ведущую в управление порта, чтобы сделать свой доклад.

По-видимому, он прежде всего обратился к помощнику начальника порта. Арчи Рутвел только что пришел в управление и, как он впоследствии рассказывал, собирался начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Каждый из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь съестное: кусок солонины, мешок с сухарями либо что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от моих судовых запасов. Меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – двух рас, пожалуй, – да и климат имеет значение. Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую проповедь, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной чьи-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и вздымающуюся по середине просторной канцелярии. Рутвел был до того ошеломлен, что очень долго не мог сообразить, живое ли перед ним существо, и дивился, какого черта этот предмет водрузился перед его конторкой. За аркой, выходящей в переднюю, толпились слуги, приводившие в движение пунку, туземцы-констебли, боцман и команда портового катера; все они вытягивали шеи и напирали друг на друга. Подлинное столпотворение. Тем временем толстый парень ухитрился снять с головы шляпу и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет этот призрак. Он вещал голосом хриплым и замогильным, но держался неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» принимает новый оборот. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе. Арчи такой чувствительный, но он взял себя в руки и крикнул:

– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к начальнику порта... Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт подсказал ему поостеречься; он уперся и зафыркал, словно испуганный бычок:

– В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул двери.

– Капитан «Патны», сэр! – крикнул он. – Пожалуйте, капитан.

Он видел, что старик, что-то писавший, резко приподнял голову, и пенсне слетело у него с носа. Арчи захлопнул дверь и бросился к своей конторке, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но шум, поднявшийся за дверью, был таков, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный помощник начальника порта на обоих полушариях. Он говорил, что чувствовал себя так, как будто впихнул человека в логовище голодного льва. Действительно, шум поднялся страшный. Я не сомневаюсь, что крики были слышны на другом конце площади. Старый Эллиот имел богатый запас слов, оратор умел и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал: «Занять более высокий пост не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое представление о долге, я охотно отправлюсь на родину. Я старик, и всю свою жизнь я выкладывал все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив».

То был его пункт помешательства. Три его дочери удивительно на него походили, но, как это ни странно, были очень хорошенькие. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам по вопросу об их замужестве, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам подчиненных, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел немца, но, если разрешите мне продолжать метафору, разжевал его основательно и... выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как толстяк торопливо спустился с лестницы и остановился на ступенях подъезда. Он стоял подле меня, погруженный в глубокое размышление; его толстые багровые щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего вульгарного человечка рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими усами, худой, как палка, озираясь по сторонам с самодовольно-глупым видом. Третий – стройный, широкоплечий юноша засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум остальным, которые о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную площадь. Ветхая, запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против группы; извозчик, положив правую ногу на колено, созерцал свои пальцы. Молодой человек, не двигаясь, смотрел прямо перед собой.

Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, аккуратно одетый, он твердо стоял на ногах – один из самых располагающих к себе мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что, ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, думая этим притворством чего-то от меня добиться. Он не смел выглядеть таким чистым и честным. Мысленно я сказал себе: «Что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда...» От возмущения я готов был швырнуть свою шляпу на землю и растоптать ее, как сделал однажды на моих глазах шкипер итальянской баржи, когда его негодяй помощник запутался с якорями, собираясь отшвартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя Джима таким спокойным: «Глуп он или груб до бесчувствия?» Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. Прошу заметить: меня нимало не интересовало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и послужил основанием официального следствия.

– Этот старый негодяй, там, наверху, обозвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны».

Узнал ли он меня? Думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами, я улыбался; «подлец» было самым мягким приветствием из всех вылетевших в открытое окно и коснувшихся моего слуха.

– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев придержать язык за зубами.

Он кивнул утвердительно, снова укусил себя за палец и тихонько выругался; затем посмотрел на меня с мрачным бесстыдством и воскликнул:

– Ба! Тихий океан велик! Вы, проклятые англичане, можете делать все, что вам угодно. Я знаю, где найдется место для такого человека, как я; меня хорошо знают в Апия, в Гонолулу, в...

Он приостановился, а я легко мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать нечего – я сам знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь одинаково приятна во всякой компании. Я через это прошел и теперь не хочу с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из этой дурной компании – за неимением ли морального... как бы это сказать... морального положения или по иным не менее важным причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные почтительные коммерческие воры, которых вы, господа, у себя принимаете. А ведь подлинной необходимости так поступать у вас нет. Вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и разнообразных побуждений.

– Вы, англичане, все поголовно – негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина (право, сейчас я не припомню, какой маленький порт у берегов Балтики осквернился, породив эту редкую птицу). – Чего вы орете? А? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый негодяй черт знает как на меня раскричался.

Вся его туша тряслась с головы до ног.

– Вот так вы, англичане, всегда поступаете: шумите, кричите из-за всякого пустяка, потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Берите мое свидетельство. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!

Он плюнул.

– Я приму американское подданство! – кричал он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых тисков, которые не позволяли ему сойти с места. Он так разгорячился, что макушка его головы буквально дымилась. Меня удерживало любопытство – самая яркая из всех эмоций, и я не уходил, – я хотел знать, как примет новости тот юноша, который, засунув руки в карманы и стоя спиной к тротуару, взирал поверх зеленых клумб площади на желтый портал отеля «Малабар». Он взирал с видом человека, собиравшегося прогуляться, и словно ждал только, чтобы друг к нему присоединился. Вот каким он выглядел, и это было отвратительно. Я ждал. Я думал, что он будет потрясен, пришиблен, станет корчиться, как посаженный на булавку жук... И... я почти боялся это увидеть.

Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Самая элементарная порядочность препятствует нам совершать преступления, но от слабости неведомой, а может быть, лишь подозреваемой, от слабости скрытой, за которой можно следить или не следить, вооружаться против нее или мужественно ее презирать, – от этой слабости ни один из нас не застрахован. Нас втягивает в ловушку, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь Юпитером, пережить повешение. А бывают проступки – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас убивают.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.